

Еврейская мама и маленький космос  
(Некролог второй)

Максим Миранский, Ярославль, Москва, 15 июня 2010 года.

Памяти Любы Миранской (12.08.1953-23.10.2009),  
За то, что вещи заговорили...

«Переписывая стихи»

Я строк тех стройность не нарушу,  
Не покривлю душой, не струшу,  
Достойно доиграю роль...  
Зачем же обнажаю душу  
И в строки помещаю боль?  
Подумай, разве это ложь:  
В стихах моих - ты не умрёшь...  
Но разве в них не сгустки боли,  
Не скорбной памяти клочки,  
Как лист, зажатый в кулачки,  
Исписанный тобой дотолё?

«Дом»

...Его диковинные вещи  
Воспитаны, как существа.  
Глаголет их немое вече  
О чистой тайне волшебства.  
Тот, кто собрал их воедино,  
Был не корыстен, не богат,  
Возвышенная вещь родима  
Душе, как верный пёс иль брат.  
Со свалки времени былого  
Возвращены и спасены,  
Они печально и беззлобно  
Глядят на спешку новизны.

Академик Алексей Сисакян  
(1944-2010), физик-ядерщик,  
Директор ОИЯИ (2006-2010), Дубна

Белла Ахмадулина, 1974.

«Борису Мессереру, дарственная надпись на книге «Tenerrezza»  
... где душам и формам  
всех вещей я - незванный близнец...

Белла Ахмадулина, 1976.

Если в этом знаменитом стихотворении Беллы Ахмадулиной - «Дом»  
- заменить местоимение на женское -получатся строки о моей маме...  
Поэтесса же писала о своём муже-художнике. Недавно мама ушла -  
навсегда -но ушла так, что почти всё осталось. Я не знаю, как она  
смогла, но знаю, что смогла именно так. Скорее всего, потому, что  
её вещи заговорили. Поначалу меня это пугало, сводило с ума:  
казалось, что все эти маленькие и большие вещи, собранные и  
подобранные с такой любовью, с таким вкусом, с таким тщанием,  
словно вглядываются в меня, вопрошают о ней. И то сказать, по

квартире было трудно ходить: вещи кричали, ревели навзрыд. Но потом они меня отпустили, точнее, я почувствовал (словно театральный актёр): то, что поначалу отнимало силы, стало давать их. В каждой игрушке, в каждой миниатюрной тарелочке или ложке, в каждом гобелене, в каждой великолепной вазе и в каждом самоварчике – во всём – оказались частицы души. Если душа – энтелехия тела, то вещь – её знак, и не продлённое ли тело?

Моя мама, увы, не была еврейкой, но она так любила всё обустроить, что была еврейской мамой. В детстве я этого не понимал и не ценил. Каждый Божий день, возвращаясь из школы, я совершал прыжок, покидая убогие берега во имя маленького космоса, который она создавала (иной раз – из ничего). Эта советская квартирка, полученная бабушкой за Войну, но преобразованная мамой каким-то невиданным образом, стала нашим... «убежищем» (я не боюсь параллелей, хотя к тому времени советская власть уже слишком выдохлась, чтобы контролировать всех). Сначала это были ложки...

Мама собирала их, как и богемские вазы, с 1969 года. Это самые старые коллекции. Ложки невероятно разные, большие и маленькие, с богатейшими мотивами и вовсе без рисунка, привычные ростово-суздальские и необычные с севера, с цветным фоном. Потом к декоративным деревянным добавились декоративные серебряные и позолоченные. Но коллекция богемского фарфора затмила все прочие. От малюсеньких, напоминающих листья и лепестки блюдца и розеток до роскошных букетных ваз ростом с ребёнком, от изысканных кофейных наборов и пленительных этажерок до настенных тарелок с историческими и охотничьими сюжетами, эти вещи в 70-е и 80-е казались нездешними, а потом стали для меня родными. Радует глаз, они будили детское воображение.

Великолепные люстры, некоторые из них сложнейшие по структуре, очаровывали растительными мотивами, филигранно исполненными.

В 90-е ко всему великолепию добавился знаменитый богемский розовый фарфор, который увенчал коллекцию. Сахарницы и солонки, корзиночки и тет-а-тет, вазы и кофейники, розетки и креманки, эти шедевры чешских мастеров, благодаря как цвету, так и предельному истончению, приучали руки и глаза к нежности, которая... не самый ли верный признак человечности? А ещё мама всегда была помешана на чистоте. Культ чистоты отражал её внутренний мотив, который, помню, удивил меня ещё в детстве: быть иной и лучшей. Чистота струилась от неё самой на любимые вещи и обратно. Так ценности и

предметы переплетались настолько, что уже не важно было, что чему причиной, и с чего всё началось.

Ко времени моего книжного помешательства (8 класс), я начал вносить свою лепту. Пускай постепенно, но на глазах убогое советское жильё превращалось в некую амальгаму библиотеки и антикварного салона, обволакивая меня образцами аккуратности и вкуса.

Так как подлинно антикварная посуда и мебель редко была ей доступна (при каждой покупке радовалась, как ребёнок), мама увлеклась винтажем, а в посуде – минимализмом. Так появились чудесные кресла, диваны, пуфы и шкафчики, сделанные современными мастерами, но в традициях мебельного барокко. Вкус, как и положено универсалии, примирял это барочное окружение с таким, казалось бы, антиподом, как минимализм (современную французскую и голландскую традицию в посуде мама любила очень).

Когда в 90-е стали «пропадать» настоящие, но доступные нам ковры (в коллекции 5 восхитительных образчиков из Средней Азии), это страстное увлечение сменилось иным, но столь же страстным: гобеленовым. Едва ли это было случайным: гобелен одновременно и самоценен, и декорирует что-то иное (например, мебель)...

В конце 80-х началось помешательство на плюшевых игрушках. Я не знаю, сколько их, и можно ли подсчитать, но они всюду – и повсюду эти маленькие существа не дают моему взгляду упасть на что-то твёрдое или плоское. Они как бы фокусируют вас на чём-то самом главном. В 19-м веке это называли воспитанием чувств ('a la lettre).

Подобно Иванову и Малевичу, мама была художником одной картины, хотя и создавала много иного. Её «одной картиной», её chef d'oeuvre, и была эта сказочная квартира, этот остров, распахнувшийся до маленькой вселенной. Как и для моего любимого поэта, для неё «эстетика была матерью этики», ибо красота, эта форма бытия, универсальна, а потому свободна от любой идеологии: ничего не навязывая, она только подталкивает к выводам.

Известен ответ Андрея Снявского о том, что у него «с советской властью были стилистические разногласия». Мама не умела протестовать осознанно и политически, а потому протестовала спонтанно и эстетически. Её храмами были хорошие магазинчики. Относясь к любой идеологии с величайшим скептицизмом, она верила в Бога, но как-то уютно и по-домашнему, без надрыва и пафоса, который всегда смущает. Любовь к вещам была любовью к результатам деяний, без коих, как помним, «вера мертва».